

Ксения Филимонова

Herling–Grudziński, Gustaw, *Piętno. Ostatnie opowiadanie kołymskie. Zapamiętane, opowiedziane. Rozmowa o Szalamowie, przygotowanie do druku Andrzej Peciak, konsultacja Zdzisław Kudelski, tłumaczenie z języka włoskiego Joanna Ugniewska, tłumaczenie na język rosyjski Siergiej Makarcew, Igor Biełow, Kraków-Warszawa, Instytut książki, 2019, 134 ss.*

Герлинг–Грудзинский, Густав, *Клеймо. Последний колымский рассказ. Запомнено, рассказано. Беседа о Шаламове, подготовка к печати Анджей Печяк, консультант Здзислав Кудельский, перевод с итальянского Иоанна Угневская, перевод с польского Сергей Макаревич, Игорь Беллов, Краков-Варшава, Институт книги, 2019, 134 с.*

В европейской литературе о катастрофах XX века существует определенное искажение: одни события и авторы входят в канон и становятся широко известными, голоса же других остаются неуслышанными. Более того, события одного и того же периода описываются и оцениваются по-разному: вопрос об исторической правде и достоверности всегда вызывает полемику. Особенно это касается режимов, которые развязали самые трагические события: войны, массовые убийства и государственное насилие. Книга, о которой пойдет речь пытается если не примирить, то хотя бы уравновесить эти позиции.

2019 год был объявлен в Польше годом писателя и мыслителя Густава Герлинга-Грудзинского. Получив опыт советского лагеря, будучи поляком, прожившим большую часть жизни в Италии, он

обрел такое “надмирное” видение, которое не полемика, а спокойный, хотя и тяжелый разговор о том, что произошло с Европой в XX веке.

Автор книги *Иной мир. Советские записки* (Герлинг–Грудзинский 1989) Грудзинский – фигура в литературоведении относимая то к *лагерной*, то к *эмигрантской* прозе. Едва ли такое заковычивание писателя в рамки жанра справедливо. Грудзинский – фигура над жанрами. Как “новую прозу”, возникшую после печей Освенцима и “позора Колымы” (Шаламов) нельзя втиснуть в рамки *лагерной* темы, так и особые отношения Герлинга с внутренней Польшей, которая навсегда родина и с Италией, которая и свобода и прибежище – это отношения, которые, конечно же нельзя назвать эмигрантской литературой. Поэтому и проза, и публицистика Грудзинского заслуживает особого внимания.

Книга *Клеймо. Последний рассказ. Запомнено, рассказано. Беседа о Шаламове* – двухчастная композиция, посвященная Варламу Шаламову, с которым, сложись обстоятельства по-другому, Грудзинскому было бы, о чем поговорить. Рассказ *Клеймо*, открывающий книгу – свидетельство такой не-встречи и одновременно размышление о трагической жизни и страшной смерти великого писателя. Варлам Шаламов в рассказе *Шерри-бренди* описывает смерть Мандельштама, еще одной чудовищной жертвы тридцатых годов. Он не находился рядом с поэтом в этот момент, но слишком хорошо знал, как это бывает. Кроме того, Надежда Яковлевна Мандельштам описывала это в своих *Воспоминаниях*:

...слух о его (Мандельштама – К.Ф.) судьбе широко разнесся по лагерям, и десятки людей передавали мне лагерные легенды о несчастном поэте. Не раз вызывали меня на свидание и возили к людям, которые слышали – на их языке это звучало: “я, наверное, знаю” – про О.М... Находились и свидетели смерти... (Мандельштам 1989: 363).

Герлинг берет на себя смелость написать еще один *колымский* рассказ – о том, какой была смерть самого Шаламова. Действительно, обстоятельства его кончины едва ли не самый страшный шаламовский сюжет. Потерявший зрение, слух и связь с внешним миром, и абсолютно дезориентированный писатель в советском пансионате для престарелых и инвалидов снова оказался в ситуации лагерного ада – такой же страшной и унижительной. Обострившиеся тюрем-

ные привычки персонал расценил как признак психического расстройства, и раздетого Шаламова по январскому морозу увезли в интернат для психохроников, где он через три дня скончался от воспаления лёгких.

О том, как умер Шаламов знали в определенных кругах и в Советском Союзе, и за рубежом. Во многом, *Клеймо* Грудзинского – попытка того, что делал всю жизнь Шаламов: написать так, чтобы читатель почувствовал физически эту ситуацию. И в этом смысле нельзя сказать, что Грудзинский сильно преуспел. Возможно, слишком далека была дистанция (Шаламов написал *Шерри бренди* в 1958 году, когда лагерный опыт был еще даже не воспоминанием, а физическим ощущением), возможно, закрытость советской системы психоневрологических интернатов в тот момент не дает даже минимальной возможности представить весь тот ужас, который происходит за крепко запертыми дверями. Особенно, если пытаться это представить, находясь совсем в другой стране. Поэтому, описывая последние минуты Мандельштама Шаламов указывает на одну – “простую и сильную” деталь – об украденном хлебе. Это самое страшное, что может произойти с голодающими много месяцев зеками. У Грудзинского же умирающий герой видит ворота – ада? лагеря? и череду людей, заходящих в них, то есть абстрактные образы приглушенных воспоминаний.

У Шаламова:

Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль – что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела... (Шаламов 2013: I, 101).

У Грудзинского:

Умирал он уже три дня не понимая, что умирает. И постоянно один и тот же образ, точнее – одно и то же видение. Черные ворота, кто-то невидимый бьет в них тараном, к воротам черной чередой приближаются люди, внезапно останавливаются, пытаются отступить, дрожат черные скалы по обеим сторонам ворот, на них, как покрывало, опускается черное небо, и ворота медленно раздвигаются, а за

ними клубятся вдали черные тучи, порозовевшие от огня, черное море трется о берег, как огромный зверь со вздыбившейся шерстью, толпа людей вновь трогается с места и бредет вперед, постепенно растекаясь и исчезая в огненно-черной пасти (Герлинг-Грудзинский 2019: 11–12).

Есть и еще одно обстоятельство, упущенное Грудзинским. Шаламов писал о том, как умирал поэт. Это принципиально, потому что и сам он считал себя в первую очередь поэтом и стихи ставил выше прозы. Проза – “чтобы знали”. Поэзия – настоящее, высшее, вечное искусство. К тому же, известно, что Шаламов до последнего момента пытался диктовать стихи. Так и в рассказе *Шерри-бренди* Мандельштам, или поэт сравнивает весь мир со стихами, ритмизуя прозаическую строку:

...работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь – вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом.

Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме (Шаламов 2013: I, 103).

Существенная и очень ценная часть двуязычного (русско-польского) издания – это беседа Грудзинского с итальянскими славистами: переводчиком *Колымских рассказов* на итальянский язык Пьеро Синатти и Анной Раффетто.

Разговор должен был стать предисловием к итальянскому изданию *Колымских рассказов*, но этого не случилось. В итоге он был опубликован отдельной книгой *Запомнено. Рассказано. Беседа о Шаламове (Ricordare. Raccontare. Conversazione su Salamov)* в 1999 году.

Это долгий разговор, коснувшийся многого. В первую очередь – шаламовской биографии, которая, безусловно, важна для понимания его *колымской* прозы. От раннего вологодского детства до грузовика с портретом Сталина на лобовом стекле, который привез тело Шаламова на кладбище – это история одного большого писателя и одной большой страны, с ее трагедиями, потерями и болью. Поэтому Шаламова нельзя ни отделять, ни противопоставлять ни истории, ни советской литературе тех лет: он часть этого процесса, а совершенно не обломок скалы, упавший далеко в море.

Но не только обсуждением биографии Шаламова интересен разговор – она как раз читателю определенного круга хорошо известна. Скорее, здесь стоит обратить внимание на сами обстоятельства, такую биографию и такую литературу породившие, а именно трудовые и концентрационные лагеря, существовавшие в СССР и Европе в первой половине XX века.

Мысль Грудзинского, за которую в современной России можно получить уголовное наказание, такова: нацистские и советские лагеря ничем не отличаются. Способ уничтожения людей, говорит он – не важен, поскольку результат оказался идентичным. В этом он полемизирует с Примо Леви, который в рецензии на первое издание *Кольмских рассказов* 1976 года “хотел если не проигнорировать, то хотя бы приуменьшить ужас советского лагеря” (Герлинг-Грудзинский 2019: 17). В этом Герлинг видит многолетнюю политику итальянской левой интеллигенции, симпатизировавшей Советскому Союзу – “чуть закрывать глаза” на советскую репрессивную машину. За советской властью, продолжает Грудзинский, левыми интеллигентами признается право на совершение ошибок.

В этом смысле опыт Грудзинского и вообще Восточной Европы (вспомним *Кольмские письма* Димитра Гачева) наиболее ценен, поскольку уравнивает историю XX века, представляя еще одно свидетельство существования ГУЛАГа и его масштабов, которых на Запад долгое время проникало не так уж много.

Грудзинский утверждал: в немецких лагерях происходило ровным образом то же самое, что и в лагерях советских.

Колыма и Освенцим по сути одно и то же – белый крематорий. В Освенциме людей убивали газом, на Колыме – голодом, холодом и непосильным трудом (Герлинг-Грудзинский 2019: 19).

Но есть у советских лагерей, которые описывали Герлинг и Шаламов одно отличительное свойство – полная покорность заключенных тому, что происходит. Истоки этого Герлинг отмечает еще в каторге, описанной Достоевским, чьи *Записки из мертвого дома* он прочитал в лагере. Действительно ли у явления сугубо русские корни? Ведь и к бунту, отмечает Герлинг, в лагере иностранцы склонны намного более, чем русские. У Грудзинского лагерный опыт короче, но от этого не менее экстремальный, он оказался на севере, в Архангельске. И в этих запредельных условиях: подавляющая воля температура, голод и побои, иностранцы сопротивля-

лись сильнее. Например, то время как Грудзинский объявлял голодовку, другие заключенные отшатывались от него, не желая иметь ничего общего, чтобы не быть наказанными заодно. Но, пожалуй, самая ценная и одновременно опасная для современного общества мысль высказана Грудзинским в самом начале: у современного человека отсутствует интерес к свидетельствам такого рода. Он заметил это и сам, как автор *Иного мира* и указывает на подтверждение этой мысли у Солженицына. Многое происходящее в России – от реабилитации Сталина и установки ему памятников до уничтожения общества “Мемориал” – говорит в пользу этого трагического суждения.

Библиография

Herling–Grudziński 2019: Herling–Grudziński, Gustaw. 2019. *Piętno. Ostatnie opowiadanie kołymskie. Zapamiętane, opowiedziane. Rozmowa o Szalamowie* (Kraków-Warszawa: Instytut książki).

Герлинг-Грудзинский 1989: Герлинг-Грудзинский, Густав. 1989. *Иной мир: Советские записки* (London: Overseas Publications Interchange).

Мандельштам 1989: Мандельштам, Надежда. 1989. *Воспоминания. Время судьбы* (Москва: Книга).

Шаламов 2013: Шаламов, Варлам. 2013. *Собрание сочинений: в 6 т.* (Москва: Книжный Клуб Книговек).